**ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ**

Язык на плечо, шляпа набекрень, пот в три ручья – едрена корень, опаздываю! И так каждый божий день. Да набойка еще слетела, мать ее за ногу, и каблук шатается. Все туфли ухайдакала на этой работе проклятой. Пропади она пропадом.

Так, денежку взяла, гребешок на месте, губенки подмазала… ах ты зараза, кулечек с колбасой ливерной на столе оставила! Ну надо же, а! Теперь назад придется тащиться, а куда денешься. Копейки платят. Была б зарплата приличная, я б как человек в буфете питалась. А так… Да ладно, пес с ним…

И лифт, как нарочно, вырубили… Всё, сил моих больше нет. А ноженьки-то – ну вот совсем не держат – бедные вы мои. И то, за день так намотаешься – света белого не взвидишь. Да ключ-то куда задевала, собачье ты отродие? А, вот он. Слава богу. Ну давай! Чтоб тебя! Ты будешь открываться или нет? Заело: ни туда ни сюда... Да провались ты. Ну!..

Не то слезы, не то пот в три ручья – один ляд: мурло соленое… Убила бы… дверь эту проклятущую. И замок бы этот с мясом вырвала. Нелегкая его возьми! Был бы мужик в доме, разве б я сейчас тут торкалась? Мать честна́я, половина! Опаздываю к чертям собачьим! Моськина меня сожрет.

– Ну чего шумишь-то? Расшумелась тут, ишь. Людям спать не дает!

Эт’то еще кто такой? Тычет тут, понимаешь, своей мохнатой лапищей мне в лицо! Кобель ты старый. Спать! Да все люди уж поднялись давно. Все люди…

– Дай-ка. Ну чего морду воротишь? Не съем, поди.

И чуть не силком ключ у меня из рук вырывает. Не успела рот раззявить – дверь нараспашку. Нет, ну ты погляди, а!

– Проходь.

Ишь ты, хозяин.

– Знач’, жилица новая? Ясен корень. И за сколь сымаешь?

Да какое твое собачье дело, да я…

– Ладно, чего хвост-то задрала? Живи.

И поминай как звали.

Я кулечек с провиантом цоп – и за дверь, и на улицу. Каков, а? С ним надо ухо держать востро. Неровён час… Да едрит твою мать, автобус! Теперь битый час на остановке проторчу…

– Тебя где черти носят?

Моськина. Орет в три горла прямо с порога. Да погоди ты, дай хоть отдышаться-то, глотка твоя луженая… И кулечек с колбасой к груди прижимаю. Да каблук еще этот шатается, словно зуб гнилой. Стою на одной ноге, цапля цаплей…

– Дуй к Букину! Раз пять звонил. Документы какие-то нужно в министерство отвезти. Срочно. Ну чего рот-то раскрыла?..

А Букин сидит – там такой мордоворот! И пальцы у него вот точно сардельки, только волосатые. Ясное дело, его из буфета за уши не вытащишь, он кулечки-то с колбасой, небось, на работу не таскает… Глазки маленькие, злющие, вот как горошинки черного перца в холодце. Документ в руки сунул, даже и не мигнул: за человека меня не считает… А я что: молчком да бочком. И поплелась себе…

Это ж сейчас туфли в починку отдай – рублей пятьсот сдерут, а то и больше. А где я их возьму-то? На дороге, поди, не валяются. Глянула себе под ноги: чем черт не шутит… Нет, видать, не до шуток ему нынче. Будто не знает, чертяка, что мне тетке за квартиру надо уплатить. Кому скажи – не поверят: родная тетка, а от денежки не отказывается. Знает, старая кошелка, что деваться мне некуда…

Вот так бы сейчас зарылась в песок – и чтобы ни одна душа меня не трогала! Куда там, в метро трясусь, как волосок на лысине, и документ букинский под мышкой, и ливером разит во всю ивановскую, и мужики в ряд сидят: все здоровые, румяные, будто только из буфета вышли.
И ни одна собака места не уступит.

А у меня живот к спине прилип, как банный лист к заду: и то, с утра во рту маковой росинки не держала. Была не была: тихонечко разворачиваю кулечек с колбасой. Мужик – самый здоровый и самый румяный –
приоткрывает глазок. Такому хоть что дай – всё заглотит. Я воровато оглядываюсь и прячу ливер под мышку… мать честная, там же букинский документ, для министерства! Пропала моя головушка…

Министерская секретарша – там жопень, прости господи, моих две –
подозрительно принюхивается: от документа за три версты несет дешевой колбасой. Я уж и так его чистила, и эдак: ядреная, собака, с чесноком. А я стою: каблук шатается, в животе какой-то лихой трубач рулады свои выводит. Только бы она взяла эту злосчастную бумагу. А то еще за шкирку схватит – и поминай как звали…

Толстожопая секретарша кривит свои губки – а губки чем-то липким вымазаны, небось, пирожное трескала (а у них там, в министерстве, буфет что надо: знаю, мимо проходила): мол, в первый и последний раз она примет такой документ, мол, документы созданы для того, чтобы на них резолюцию ставить, а как, мол, на таком документе, от которого ливером прет, резолюцию поставишь? А у меня ноги подкашиваются. Вот, думаю, сейчас грохнусь – каблук отвалится, да ей в физиономию, да по мысалам, по мысалам: нечего пирожные в три горла жрать!
А трубач, собака, на все лады свою мелодию гнет.

Презрительно сморщив свой секретарский носик, толстожопиха снова берет документ эдак двумя пальчиками и тщательно его обнюхивает – а там пальчики ну точно пампушечки, не то что у меня: сухие коряги – да еще и кольцами унизаны: я столько колец отродясь не видала. Нюхнет, песье ты отродье, и на меня зыркает, нюхнет – и зыркает, словно та самая резолюция на моем лбу написана. Да бери, хороший документ, чего торгуешься? Не возьмешь – разверну кулечек с ливером и прямо у тебя на глазах начну жрать, ясно тебе, шельма ты рыжая?

– Ну не знаю, как такое (она еще раз подносит бумагу к своему носу) можно подавать на стол Ивану Терентьевичу…

Да подашь, не лопнешь.

– Зиночка, соорудите-ка мне чайку!

Легок на помине. Чайку ему. Небось, пустой-то чаек чакать не станет. Брюхо вон отрастил, словно баба на сносях.

– Вам с лимончиком?

– Валяй с лимончиком.

А сам на меня пялится. А я ногу-то эдак поджала под себя: каблук, словно пьянчужка какой, шатается – вот и прячу его от людей. А выходит, вроде кокетничаю. А ножки у меня ничего! Меня бы, вот как эту жопастую секретаршу, разодеть да в буфете денька так три подержать –
я бы ух! Терентьич этот от меня живым бы не ушел.

– А это что такое?

Говорит-то про документ, а сам на меня косится.

– От Букина…

Секретарша презрительно морщится и подает Ивану Терентьевичу истрепанную бумагу.

– Это от какого Букина? Хм, посмотрим, посмотрим.

Цоп – и вцепился в документ: сейчас сожрет! Ну, я молчком да бочком – и за дверь. И дёру!

Фу… Теперь можно и колбаску достать. Бережно, двумя пальчиками, разворачиваю свое сокровище. А трубач в животе трубит во всю ивановскую: заслушаешься. Вот я рот-то и раззявила – да колбасу мимо и пронесла. А она прыг на пол – и пошла скакать по министерским коридорам. Только у кабинета самого́ министра и поймала ее за хвост: ну, теперь-то ты от меня не уйдешь, съем как миленькую. И съела. А то, что тетки какие-то высунулись из своих комнат и ну пялиться на меня во все свои очки, – да пес с ними: и не поперхнулась.

– Ну что? Отвезла?

Моськина. Маленькая собачка до старости щенок. Так бы и дала между глаз, чтобы кровью умылась…

– Давай вон документы подшивай.

Собачка-то она собачка, а и муж у нее есть, и трое детишек: две девчонки и пацан. И сам Букин ее в кабинет к себе приглашает: ясное дело, за какой надобностью. А я одна как перст. Дырки в бумажках прокалываю да каблуки под корень сбиваю…

Ночью снится мне: в буфете я. А кругом одно сплошное мясо. Ешь не хочу! И азу тебе, и бешбармак, и кебаб, и фрикасе, понимаешь, всякое!
А пахнет, сил нет! Тут как тут официант, зараза ты тонконогая: чего, мол, изволите? И выделывает у меня перед глазами кренделя своими цырлами, и сует под самый нос меню – а только это и не меню вовсе, а документ, который я Терентьичу возила, точь-в-точь, ну надо же!
И пахнет от него…

– Чего изволите? – Да напирает, собака ты тонконогая! – Мадам!

Мадам… Да знаешь ты, что у меня от этого мясного духа сейчас несварение желудка сделается, и прямо на тебя?..

– Что будем заказывать?..

– Мне бы… колбаски… ливерной…

Чуть свет стук в дверь. Кого там еще черти принесли? Продрала глаз, накинула на себя какую-то дерюжку, еле плетусь к двери. Вчерашний. Ну, этот, кобель лохматый. Такому не откроешь – весь люд честной перебудит. Никуда не кинешься.

А он лапу свою вытаращил и прет в комнаты. Да постой ты, леший тебя возьми, у меня ж не убрано. А ему хоть бы хны: шары свои выпучил и ну рыскать по квартире – каждый угол обнюхал.

– Хм… под кровать, что ль, забилась?

И зыркает, зыркает.

Да ты что, песья твоя душа, кто забился-то, под какую кровать? Не просох, что ль, с вечера?

– Ну гляди, еще раз услышу – я т-тебе!

И грозит своим мохнатым кулачищем: такой даст – костей не соберешь.

А страх, словно слепой кутенок, в животе так и крутится, так и вертится: и что он удумал, лохмач этот? Был бы мужик в доме, нешто я вот так бы вот тряслась ни свет ни заря, словно осиновый лист… Одна я, как перст одна…

Шестой час… Вот псина шелудивый: весь сон забрал своей лапищей. Кровать какую-то приплел… А сам, небось, деньгу искал. Спасибо, тетка обобрала меня до нитки… Еще раз услышу… А чего ты слушать-то собрался? Ой, плакала моя головушка… А кутенок и крутится, и вертится…

Собрала на стол. А и собирать-то нечего: картохи, но, правда, не пустые – с сальцом. Как же, теткин гостинчик, чтоб тебя черти на том свете драли, кошелка ты старая: ты, говорит, деньги-то псу под хвост не выбрасывай, у мене, мол, они не пропадут. Будто у меня пропадут! Знаешь только что и обирать – и это родную-то племянницу, сестры единственной дочь!

Ладно, бог с тобой. Роток обтерла, платьице на фигуре оправила. И только ногу в туфлю – а каблук закочевряжился да и пустился себе плясать по полу, кренделя выделывать, задом вилять! Плакали пятьсот рубликов!

Да что я, нищенка, что ли, какая? Мамаша-покойница мне приданое собирала, горбатилась: там и простынки, и полотенчики, и кружавчатые рубашечки. Много добра накопила, царство небесное. Между прочим, и туфельки красные мне в наследство оставила, которые пару раз всего и надевала. Вот, говорит, доченька, встретишь человека, будет в чем под венец пойти. Только пес его знает, где этот человек шатается.

А туфельки лаковые, с пряжечкой: загляденье! Моськина лопнет от зависти!

И эдак небрежно открываю ножкой дверь – а там что-то звя-а-ак. Гляжу: тарелочка, а на ней аккуратненько так кусочки колбаски разложены. Да не ливерная, едри ее в корень, докторская! Да свежая! Я к носу тарелочку-то поднесла – аж дух заходится. Огляделась: кажись, никого. Я колбаску-то в кулечек, кулечек в сумочку – и застучала каблучками по лестнице, только меня и видели. А тарелочка, словно бельмо на глазу, на полу светится.

А только ни Моськина, ни Букин не поглядели на мои лаковые туфельки с пряжечкой. Иван Терентьич, видишь ли, ждет. Документы ему, видишь ли, принеси-подай. Сам-то он, небось, и с места не сдвинется, разве что в буфет. А может, ему эта Зиночка толстожопая подносит кебабы там разные, пес его знает? А может, и прелестями своими у него под самым носом трясет, как наша Моськина перед Букиным! Смех, ей-богу! Ну, у Зиночки-то хоть есть чем трясти, а у этой-то: ножки как две кочерёжчки да попка с луковичку!

Чуть не поперхнулась, едва увидела, как этот мордоворот Букин подзывает Моськину своей волосатой сарделькой: а зайдите-ка ко мне, Таисья Ивановна!

Я голову-то в пол, документ под мышку – и почапала от греха подальше. Вот чапаю, а сама думаю: ничего, думаю, вот домой ворочусь –
достану колбаску докторскую из кулечка да и попирую всем назло!
И туфельки красные не буду снимать, и платье мамино из крепдешина надену, так-то вот!

И такой меня смех разобрал, силы небесные! Иду, ну в голос хохочу. Да на туфельки эдак посматриваю, да колбаска докторская душу греет. Я возьми – да и сунь букинский документ в сумочку, аккурат к колбаске.

Прихожу. А Зиночка жопастая, как вошь на гребешке, крутится: документ, видать, шибко важный. А я эдак ножку в лаковой туфельке отставила да так, знаешь, с ленцой в сумочку за бумажкой лезу, одолжение делаю. Не всё же им надо мной кочевряжиться! А она аж слюной исходит:

– Ну давайте же, ну!

Ишь ты, какая шустрая!

Не успела я бумажку вытащить – она ее сейчас хвать (даже к носу не поднесла) и в кабинет Терентьича, только жопень и мелькнула в дверях.

Мне бы уйти, как человеку, а я возьми да и присядь в кресло мягкое: его Зиночка своими формами мнет. Хорошо! И туфельки красные на ногах, и колбаска в сумочке! Вот это жизнь!..

Да глаза прикрыла и вижу: выстукиваю я своими каблучками красными по мостовой – а из-за угла человек какой-то незнакомый нарисовался, по всему видать, суженый… Я рот-то открыла – тут как тут Терентьич. И нависает надо мной своими телесами: ну и брюхо отъел, родимые матушки!

– Это вы, что ль, от Букина?

И проедает меня своим глазом масленым.

Ну я, говорю, а сама соскакиваю с Зиночкиного кресла. А та уже зыркает на меня, сейчас сожрет.

– А пройдите-ка в мой кабинет.

И дверью хлопает перед самым Зиночкиным носом.

А я что? Я ничего не знаю, что в этих документах пишут! На кой они мне?

А он своим масленым глазом шарит-шарит по моей фигуре, а потом цоп за грудь – и пыхтит, точно сало на сковородке… Спасибо, Зиночка не стала мешкать:

– Иван Терентьич, Вам чайку сейчас принести или потом?

А у самой глаза из орбит, неровён час, выскочат.

А тот ей:

– Потом!

Пыхнул – и рукой эдак машет: пошла, мол.

– С лимончиком?

А сама сейчас заплачет.

– С лимончиком, с лимончиком!

Ну, я изловчилась, да ка-ак садану Терентьича в бок – и что сил бежать!

А туфельки узкие, а каблуки высокие, едва живая из министерства и вырвалась. Вырваться-то вырвалась, а только плакали мои новенькие туфельки: пряжечка хрясь – и в пух! Попробуй теперь присобачь…

Вот до скамейки-то доползла, колбасу из сумки вытащила. А кусок в глотку не лезет: сижу, давлюсь, а слезы так сами по щекам и катятся, так и катятся… И за что мне все это, горемычной? У людей как у людей, а у меня… Жизнь собачья… Нет чтоб как человека в буфет пригласить… И тетка эта вечно лыбится: навязалась, мол, на мою шею, хоть бы какой кобель приблудный тебе взамуж взял, никому ты, мол, не нужна. И лыбится, и лыбится…

А я ведь песельница, еще какая песельница! У меня голос, знаешь, какой! Там такой голос, заслушаешься… Вот, бывало, с мамой-покойницей как затянем нашу любимую:

– Отец мой был природный пахарь!

Да ка-а-ак раззадоримся:

– А я работал вместе с ним!

На нас напали злые турки…

А наш директор клуба Матвей Иваныч – видный такой мужчина, там на баяне играл – рот откроешь, во как играл! Так вот Матвей Иваныч-то самый:

– Эх, – говорил, – Марья, сцена, – говорил, – по тебе плачет! Это ж какой голосина, а! Какая силища! – И глаза закатывал, вот ей-богу! А Матвей Иваныч – это вам не Терентьич пузатый, который только свое брюхо и слышит. Матвей Иваныч – это…

– Село родно-о-ое полегло…

А только гляжу, какой-то подсаживается… Ну, я колбасу в сумку, сумку в руку – и восвоясь, только меня и видели…

– Отца мово в полон забрали…

И на кой я в город этот ринулась? Всё счастье думала сыскать. А ка-
кого рожна нашла?

– А мать живьем в костре сожгли-и-и…

Да-а, что теперь! Ни кола ни двора… И поминай как звали…

Домой еле ноги приволокла. Перед глазами темно, дух вон… А только заметила: тарелочка-то бельмом у порога не светится … Ну, и на том спасибо, добрый человек… Когда еще теперь колбаской побалуюсь докторской…

И, едва за порог ступила, завыла во всю ивановскую! Уж так я выла, так выла… Голосина-то ого-го… Матвей Иваныч-то, небось, знал, что говорит… не какой-то там…

Вот ведь натура про́клятая! Вою в три глотки, а сама еще шутки шуткую… А иначе как жить?..

Да только недолго выла-то.

Вдруг кто ка-а-ак стуканёт по мозгам, да еще, да наотмашь. Ну, думаю, не отворю – плакала теткина дверь! А страха за свою шкуру и в помине нет…

– Ты пошто животину мучаешь?

И вламывается в комнаты. Ну, кобель-то, лохмач-то.

А я язык высунула: стою – и не отдышусь…

Он по углам-то шнырь-шнырь, потом шары свои на меня выпучил… А мне сам черт не брат. У меня за душой ничего, одна пустота… вон только туфельки красные валяются…

– А где псина-то?

И пялится на мои глаза опухшие.

– Какая?

– Да будет кобениться-то!

И так, знаешь, прет на меня да кулачище свой потирает, а там кулачище – с мою голову. Я глазенки-то прикрыла, жду… Вот сейчас, думаю, ка-а-ак даст промеж глаз – кровью и умоюсь… Может, оно и к лучшему, может…

– Ну, гляди у меня, еще раз услышу…

И моргнуть не успела – он за порог…

А я, словно пустой мешок, на пол осела – и ну скулить тихонечко… Да в раж-то и вошла… И не приметила, как лохмач мой вернулся и стоит у порога. Гляжу – а глаз у него живой такой и будто светится…

– Ах ты, – говорит. Да, слышь, слезу тем самым своим кулачищем и утирает. Ну, я, от бессилия, что ль, по новой скулить…

– Да ты, небось, не жрамала? Ты погодь, погодь, я мигом…

Я рот-то открыла – а он в дверь. И точно, мигом обернулся: тарелочка белая в руках, а на ней кусочки колбаски докторской аккуратненько так разложены, залюбуешься.

– Это я для нее… ну, для псины… приготовил…

И сверкает глазом своим. Присоседился с боку и кусочек так берет с тарелочки – да мне в рот, берет – да в рот: ешь-ешь – приговаривает. А я и ем, знай, облизываюсь: вкусная колбаска, докторская… не то что там ливер какой-то…

А он: ешь-ешь – да по головке меня, да по спинке своим кулачищем поглаживает. А ладошки теплые такие, колбаской попахивают…